

## ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1846 ГОДА

Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее. Поэтому говорить о русской литературе 1846 года — значит говорить о современном состоянии русской литературы вообще, чего нельзя сделать, не коснувшись того, чем она была, чем должна быть. Но мы не вдадимся ни в какие исторические подробности, которые завлекли бы нас далеко. Главная цель нашей статьи — познакомить заранее читателей «Современника» с его взглядом на русскую литературу, следовательно, с его духом и направлением как журнала. Программы и объявления в этом отношении ничего не говорят: они только обещают. И потому программа «Современника», по возможности краткая и не многословная, ограничилась только обещаниями чисто внешними. Предлагаемая статья, вместе с статьею самого редактора, напечатанною во втором отделении этого же номера <sup>1</sup>, будет второю, *внутреннюю*, так сказать, программю «Современника», в которой читатели могут сами, до известной степени, проверять обещания исполнением.

Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностию, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости. Само собою разумеется, что подобная характеристика может относиться только к литературе недавней, молодой и притом возникшей не самобытно, а вследствие подражательности: литература зреет веками, и эпоха ее зрелости есть в то же время и эпоха числительного богатства ее замечательных произведений (*chef d'oeuvres*). Этого нельзя сказать о русской литературе. Ее история, как и история самой России, не по-

хожа на историю никакой другой литературы. И потому она представляет собою зрелище единственное, исключительное, которое тотчас делается странным, непонятным, почти бессмысленным, как скоро на нее будут смотреть, как на всякую другую европейскую литературу. Как и все, что ни есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша литература есть результат реформы Петра Великого. Правда, он не заботился о литературе и ничего не сделал для ее возникновения, но он заботился о просвещении, бросив в плодovitую землю русского духа семена науки и образования, — и литература, без его ведома, явилась впоследствии сама собою как необходимый результат его же деятельности. В том-то, скажем мимоходом, и состояла органическая жизненность преобразования Петра Великого, что оно породило много и такого, о чем он, может быть, и не думал, чего он даже и не предчувствовал. Даровитый и умный Кантемир, вполнину подражатель, вполнину перелагатель на русские нравы сатир римских поэтов (преимущественно Горация) и их подражателя и перелагателя на французские нравы — Буало, Кантемир, с его силлабическим размером, с его языком, полукнижным, полународным, который, по самой этой смеси, был языком образованного общества того времени, Кантемир и вслед за ним Тредьяковский, с его бесплодную ученостию, с его бездарным трудолюбием, с его схоластическим педантизмом, с его неудачными попытками усвоить русскому стихотворству правильные тонические размеры и древние гекзаметры, с его варварскими виршами и варварским двоекратным переложением Роллена<sup>2</sup> — Кантемир и Тредьяковский были, так сказать, прологом, предисловием к русской литературе. От смерти первого прошло с небольшим сто два года (он умер 31 марта 1744 года); от смерти второго прошло только с небольшим семьдесят семь лет (он умер 6 августа 1769 года). Тредьяковский был еще в цвете своей славы и еще только шесть лет величал себя «профессором элоквенции и хитростей пиитических»; еще молодой, но больной, слабый и уже близкий к смерти, Кантемир был жив \*, когда в 1739 году двадцативосьмилетний Ломоносов — Петр Великий русской литературы — прислал из немецкой земли свою

---

\* Кантемиру тогда был 31 год, а Тредьяковскому — 36 лет.

знаменитую «Оду на взятие Хотина», с которой, по всей справедливости, должно считать начало русской литературы. Все, что сделано было Кантемиром, осталось без следа и влияния в книжном мире; все, что было сделано Тредьяковским, оказалось неудачным, — даже его попытки ввести в русское стихотворство правильные тонические метры... Поэтому ода Ломоносова показалась всем первым стихотворным произведением на русском языке, которое было написано правильным размером. Влияние Ломоносова на русскую литературу было такое же точно, как влияние Петра Великого на Россию вообще: долго литература шла по указанному им ей пути, но, наконец, совершенно освободясь от его влияния, пошла по дороге, которой сам Ломоносов не мог ни предвидеть, ни предчувствовать. Он дал ей направление книжное, подражательное и оттого, повидимому, бесплодное и безжизненное, следовательно вредное и губительное. Это совершенная правда, которая, однакож, несколько не умаляет великой заслуги Ломоносова, несколько не отнимает у него права на имя отца русской литературы. Не то же ли самое говорят о Петре Великом наши литературные старообрядцы? <sup>3</sup> И надо сказать, что их ошибка состоит не в том, что они говорят о Петре Великом и созданной им России, а в том, какое они выводят из этого следствие. По их мнению, реформа Петра убила в России народность, а следовательно, и всякий дух жизни, так что России для своего спасения не остается ничего другого, как снова обратиться к благодатным, полупатриархальным нравам эпохи Кошкина <sup>4</sup>. Повторяем: ошибаясь в выводе, они правы в положении, и поддельный, искусственный европеизм России, созданный реформой Петра Великого, действительно может казаться не более, как внешнею формою без внутреннего содержания. Но разве нельзя того же самого сказать о всех поэтических и ораторских опытах Ломоносова? За что же, по какому же странному противоречию с собственным своим взглядом эти самые люди благоговейно перед именем Ломоносова и с странною раздражительностию принимают за преступление всякое свободное мнение об этом риторе и в поэзии и в красноречии? Не было бы с их стороны гораздо последовательнее и сообразнее с логикою и здравым смыслом и на Ломоносова смотреть так же точно, как смотрят они на Петра Великого?..

Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить ни в литературе, ни в жизни отсутствие своего собственного, национального содержания; но оно может переродиться в него со временем, как пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть и поддерживает в нем силу, здоровье и жизнь. Не будем распространяться, каким образом это сделалось с Россией, созданною Петром, и русскою литературою, созданною Ломоносовым; но что это действительно сделалось и делается с ними — это исторический факт, истина, фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедию Грибоедова, произведения Пушкина, Лермонтова и, в особенности, Гоголя, — сравните их с произведениями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ими ничего общего, никакой связи, вы подумаете, что в русской литературе все случайно — и талант и гений; а может ли иметь какую-нибудь важность случайное: не есть ли это призрак, мечта? И действительно: было время, когда вопрос — есть ли у нас литература? не казался парадоксом и многими разрешен был в отрицательном смысле. И такое решение естественно и неизбежно, если русскую литературу судить на основаниях, по которым должно судить историю европейских литератур. Но один из величайших умственных успехов нашего времени в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, несколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с нею общего, европейских народов<sup>5</sup>. То же и в отношении к истории русской литературы. Между писателями, которых мы поименовали выше, и между Ломоносовым и его школою действительно нет ничего общего, никакой связи, если сравнить их, как две крайности; но между ними сейчас же явится перед вами живая кровная связь, как скоро вы будете изучать в хронологическом порядке всех русских писателей, от Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движение русской литературы заключалось в стремлении, хотя и бессознательном, освободиться от влияния Ломоносова и сблизиться с жизнью, с действительностию, следовательно, сделаться самобытною, национальною, русскою. Если в произведении Хераскова и Петрова, так незаслуженно

превознесенных современниками, нельзя увидеть ни малейшего прогресса в этом отношении, — зато прогресс есть уже в Сумарокове, писателе без гения, без вкуса, почти без таланта, но на которого современники смотрели, как на соперника Ломоносова. Попытки Сумарокова, хотя и неудачные, на комедию из русских нравов, его сатиры, а главное, его простодушно-желчные выходки против *крапивного семени*, равно как и некоторые прозаические статьи, более или менее касавшиеся вопросов современной ему действительности, — все это показывает какое-то стремление на сближение литературы с жизнью. И в этом отношении сочинения Сумарокова, лишенные всякого художественного или литературного интереса, заслуживают изучения, так же как имя его, сперва не по достоинству перевозносимое, а потом столько же несправедливо унижаемое, заслуживает уважения в потомстве. Нельзя смотреть, как на бесполезные явления, даже и на Хераскова с Петровым: современники видели в них гениев, перевозносили их до седьмого неба, стало быть, читали их, а если читали, стало быть, эти писатели сильно способствовали распространению в России вкуса к занятию и наслаждению литературою. Безобразные притчи Сумарокова явились изящными, по тому времени, переводами французских басен в баснях Хемницера и Дмитриева, а в баснях Крылова они явились впоследствии превосходными народными произведениями. Подражатель Ломоносова, смиренно благоговевший даже перед Херасковым и Петровым, Державин если не был самобытным русским поэтом, то уже не был и только ритором. Одаренный от природы великим поэтическим гением, он потому только не мог создать самобытной русской поэзии, что для этого не пришло еще время, а не по недостатку естественных сил и средств. Русский язык был тогда еще не выработан, дух книжничества и риторики царил в литературе; но главное — тогда была только государственная жизнь, но не было жизни общественной, потому что тогда не было общества, а был только двор, на который все смотрели, но который знали только принадлежавшие к нему. Не было общества, не было и общественной жизни, общественных интересов; поэзии и литературе неоткуда было брать содержания, и потому они существовали и поддерживались не сами собою, а покровительством сильных и знатных, и носили

характер официальный. Так должно смотреть на эту эпоху, сравнивая ее с нашею; но не так должно смотреть на нее, сравнивая ее с эпохою Ломоносова: тут был сравнительно большой прогресс. Если в это время еще не было общества, зато именно в это время оно зарождалось, потому что блеск и образованность двора начинали тогда отражаться и на среднем дворянстве, и тогда же начали устанавливаться в нем те нравы, которые мы видим теперь. И потому, кроме огромной разницы в поэтическом гении, Державин уже имел перед Ломоносовым большое преимущество и со стороны содержания для своей поэзии, хотя он был человеком без образования, не только без учености. Поэтому поэзия Державина далеко разнообразнее, живее, человечнее со стороны содержания, нежели поэзия Ломоносова. Причина этого не в том только, что Ломоносов был больше превосходный стихотворец, нежели поэт, тогда как Державин от природы получил поэтический гений, но и в сравнительном успехе общества времен Екатерины Великой перед обществом времен императриц Анны и Елизаветы.

По этой же причине литература екатерининского времени решительно заслоняет собою предшествовавшую ей литературу. Кроме Державина, в это время был Фонвизин — первый даровитый комик в русской литературе, писатель, которого теперь не только чрезвычайно интересно изучать, но которого читать есть истинное наслаждение. В его лице русская литература как будто даже преждевременно сделала огромный шаг к сближению с действительностию: его сочинения — живая летопись той эпохи. В это же время литература наша от древних литератур, изучавшихся в семинариях и на семинарский лад, начала исключительно наклоняться к французской литературе. Вследствие этого начали хлопотать о так называемой *легкой литературе*, в которой блистал Богданович. К концу царствования Екатерины явился Карамзин, давший русской литературе новое направление. Мы не будем говорить о его великих заслугах, его великом влиянии на нашу литературу и через нее на образование нашего общества. Мы не будем также входить в подробности о следовавших за ним писателях. Скажем коротко, что в каждом из них видно постепенное освобождение от книжного, риторического направления, дан-

ного Ломоносовым нашей литературе, и постепенное сближение литературы с обществом, с жизнью, с действительностью. Загляните в лицейские стихотворения Пушкина, даже во многие из пьес в первой части его сочинений, им самим изданных, — и вы увидите в них влияние почти всех предшествовавших ему поэтов, от Ломоносова до Жуковского и Батюшкова включительно. Баснописец Крылов, предшествоваемый Хемницером и Дмитриевым, так сказать, приготовил язык и стих для бессмертной комедии Грибоедова. Стало быть, в нашей литературе всюду живая историческая связь, новое выходит из старого, последующее объясняется предыдущим и ничто не является случайно.

«Но, — спросят нас, может быть, — в чем же заключалась важная заслуга Ломоносова, если вся заслуга последующих писателей состояла в постепенной эманципации русской литературы из-под его влияния, следовательно, в том, что они старались писать не так, как он писал? И не странное ли это противоречие — говорить с уважением о заслугах и гении писателя, которого вы же сами называете ритором?»

Во-первых, Ломоносов несколько не был ритором по его натуре, для этого он был слишком велик; но его сделали ритором не от него зависевшие обстоятельства. Его сочинения разделяются на ученые и литературные: к последним мы относим оды, «Петриаду», трагедии, словом, все стихотворные его опыты и похвальные слова. В его ученых сочинениях по части астрономии, физики, химии, металлургии, навигации — нет риторики, хотя они и писаны длинными периодами по латино-немецкой конструкции, с глаголами в конце; но его стихотворные произведения и похвальные речи преисполнены риторикой. Отчего же это? Оттого, что для ученых своих сочинений у него было готовое содержание, которое добыл он себе наукою и трудом в немецкой земле и которого ему не нужно было дожидаться или допрашиваться у своего отечества. Приобретенное учением и трудом он развил и увеличил собственным гением. Стало быть, он знал, что писал, и не нуждался в риторике. Содержания же для своей поэзии он не мог найти в общественной жизни своего отечества, потому что тут не было не только сознания, но и стремления к нему, стало быть, не было никаких умственных и нравственных интересов; следо-

вательно, он должен был взять для своей поэзии совершенно чуждое, но зато готовое содержание, выражая в своих стихах чувства, понятия и идеи, выработанные не нами, не нашею жизнью и не на нашей почве. Это значило сделаться ритором поневоле, потому что понятия чуждой жизни, выдаваемые за понятия своей жизни, всегда — риторика. Еще более риторикою были в то время европейские кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робронды, мушки, ассамблеи, менуэты и т. д. Но кто же, кроме теоретиков и фантазеров, скажет, чтобы теперь европейская одежда и нравы не сделались национальными для лучшей, то есть образованнейшей, части русского общества, нисколько не мешая ему быть *русским* на самом деле, а не по названию только? Скажем более: в отношении не только к образованнейшей части русского общества, но и всего народа русского теперь сделались чистою риторикою все понятия, определения и слова допетровского русского быта, — и если бы военные и гражданские чины наши были переименованы в стратиггов, бояр, стольников и т. п., — простой народ тут ровно ничего бы не понял. То же самое благодаря Ломоносову совершилось и в литературном мире: все подделки под народность теперь отзываются простонародностию, то есть пошлостию, и все попытки в этом роде самых даровитых писателей отзываются риторикою.

«Но каким же чудом, — спросят нас, — внешнее, абстрактное заимствование чужого и искусственное перенесение его на родную почву, — каким чудом могло породить оно живой, органический плод?» — В ответ на это скажем то же, что уже говорили: решение этого вопроса, без сомнений, интересно; но нам нет дела до него: для нас довольно сказать, что так, именно так было, что это исторический факт, достоверности которого не может и подумать опровергать тот, у кого есть глаза, чтоб видеть, и уши, чтоб слышать. Писатели, в которых выразилось прогрессивное движение через освобождение литературы русской от ломоносовского влияния, нисколько не думали об этом; это делалось у них бессознательно; за них работал дух времени, которого они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, как поэта, благоговели перед его гением, старались подражать ему, — и все-таки все больше и больше отходили от него. Рази-

тельный пример этого — Державин. Но в том-то и состоит жизненность европейского начала, привитого к нашей народности Петром Великим, что оно не коснеет в мертвой стоячести, но движется, идет вперед, развивается. Если бы Ломоносов не вздумал писать од по образцу современных ему немецких поэтов и французского лирика Жан Батиста Руссо, не вздумал писать своей «Петриады» по образцу Виргилиевой «Энеиды», где, вместе с Петром Великим, героем своей поэмы, сделал действующим лицом и Нептуна, засадив его с тритонами и наядами на дно прохладного Белого моря; если бы, говорим мы, вместо всех этих книжных, школярных нелепостей он обратился бы к источникам нашей народной поэзии — к «Слову о Полку Игоревом», к русским сказкам (известным теперь по сборнику Кирши Данилова), к народным песням и, вдохновленный, проникнутый ими, на их чисто народном основании, решился бы построить здание новой русской литературы: что бы тогда вышло? — Вопрос, повидимому, важный, но, в сущности, препустой, похожий на вопросы вроде следующих: что было бы, если бы Петр Великий родился во Франции, а Наполеон — в России, или: что было бы, если бы за зимою следовала не весна, а прямо лето? и т. п. Мы можем знать, что было и что есть, но как нам знать, чего не было или чего нет? — Разумеется, и в сфере истории все мелкое, ничтожное, случайное могло бы быть и не так, как было; но ее великие события, имеющие влияние на будущность народов, не могут быть иначе, как именно так, как они бывают, разумеется в отношении к главному их смыслу, а не к подробностям проявления. Петр Великий мог построить Петербург, пожалуй, там, где теперь Шлиссельбург, или, по крайней мере, хоть немного выше, то есть дальше от моря, чем теперь; мог сделать новою столицею Ревель или Ригу: во всем этом играла большую роль случайность, разные обстоятельства; но сущность дела была не в том, а в необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы нам средство легко и удобно сноситься с Европою. В этой мысли уже не было ничего случайного, ничего такого, что могло бы равно и быть и не быть или быть иначе, нежели как было. Но для тех, для кого не существует разумной необходимости великих исторических событий, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что

было бы, если б Ломоносов основал новую русскую литературу на народном начале? — и ответим им, что из этого ровно ничего не вышло бы. Однообразные формы нашей бедной народной поэзии были достаточны для выражения ограниченного содержания племенной, естественной, непосредственной, полупатриархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло к ним, не улеглось в них; для него необходимы были и новые формы. Тогда спасение наше зависело не от народности, а от европеизма; ради нашего спасения тогда необходимо было не задушить, не истребить (дело или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, так сказать, задержать на время (*suspendre*) ее ход и развитие, чтобы привить к ее почве новые элементы. Пока эти элементы относились к нашим родным, как масло к воде, у нас, естественно, все было риторикою — и нравы, и — их выражение — литература. Но тут было живое начало органического сращения, через процесс усваивания (*assimilation*), и потому литература от абстрактного начала мертвой подражательности двигалась все к живому началу самобытности. И мы дождались, наконец, до того, что перевод нескольких повестей Гоголя на французский язык обратил на русскую литературу удивленное внимание всей Европы<sup>6</sup>, говорим *удивленное*, потому что переводы русских романов и повестей на иностранные языки делались и прежде, но, вместо внимания, порождали в иностранцах совсем не лестное для нас невнимание к нашей литературе, по той причине, что эти русские повести и романы, переведенные на их языки, они считали, напротив, переводами с их языков: так чужды они были всего русского, всякой самобытности и оригинальности.

Карамзин окончательно освободил русскую литературу от ломоносовского влияния, но из этого не следует, чтобы он совершенно освободил ее от риторики и сделал ее национальной: он много *для этого* сделал, но *этого* не сделал, потому что до *этого* было еще далеко. Первым национальным поэтом русским был Пушкин \*; с

---

<sup>4</sup> Нам могут заметить, ссылаясь на собственные наши слова, что не Пушкин, а Крылов; но ведь Крылов был только баснописец-поэт, тогда как трудно было бы таким же образом одним словом определить, какой поэт был Пушкин. Поэзия Крылова — поэзия здравого смысла, житейской мудрости, и для нее, скорее, чем для

него начался новый период нашей литературы, еще больше противоположный карамзинскому, нежели этот последний ломоносовскому. Влияние Карамзина до сих пор ощутительно в нашей литературе, и полное освобождение от этого влияния будет великим шагом вперед со стороны русской литературы. Но это не только ни на волос не уменьшает заслуг Карамзина, но, напротив, обнаруживает всю их великость: вредное во влиянии писателя есть запоздалое, отсталое, а чтобы оно владычествовало не в свое время, необходимо, чтобы в свое время оно было новым, живым, прекрасным и великим.

В отношении к литературе, как к искусству, поэзии, творчеству, влияние Карамзина теперь совершенно исчезло, не оставив никаких следов. В этом отношении литература наша всего ближе к той зрелости и возмужалости, речью о которых начали мы эту статью. Так называемую *натуральную школу* нельзя упрекнуть в риторике, разумея под этим словом вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни. Мы отнюдь не хотим этим сказать, чтобы все новые писатели, которых (в похвалу им или в осуждение) причисляют к *натуральной школе*, были все гении или необыкновенные таланты; мы далеки от подобного детского обольщения. За исключением Гоголя, который создал в России новое искусство, новую литературу и которого гениальность давно уже признана не нами одними и даже не в одной России только, мы видим в *натуральной школе* довольно талантов, от весьма замечательных до весьма обыкновенных. Но не в талантах, не в их числе видим мы собственно прогресс литературы, а в их направлении, их манере писать. Таланты были всегда, но прежде они *украшали природу, идеализировали действительность*, то есть изображали несуществующее, рассказывали о небывалом, а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила важное значение в глазах общества. Русская повесть в журнале предпочитается переводной, и мало того, чтобы повесть была написана

---

всякой другой поэзии, можно было найти готовое содержание в русской жизни. Притом же самые лучшие, следовательно, самые народные басни свои Крылов написал уже в эпоху деятельности Пушкина и, следовательно, нового движения, которое последний дал русской поэзии.

русским автором, необходимо, чтобы она изображала русскую жизнь. Без русских повестей теперь не может иметь успеха ни один журнал. И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имеющая глубокий смысл, глубокое основание: в ней выражается стремление русского общества к самосознанию, следовательно пробуждение в нем нравственных интересов, умственной жизни. Уже безвозвратно прошло то время, когда даже всякая посредственность иностранная казалась выше всякого таланта русского. Умея отдавать справедливость чужому, русское общество уже умеет ценить и свое, равно чуждаясь как хвастливости, так и унижения. Но если оно более интересуется *хорошею* русскою повестью, нежели *превосходным* иностранным романом, — в этом виден огромный шаг вперед с его стороны. В одно и то же время уметь видеть превосходство чужого над своим и все-таки ближе принимать к сердцу свое, — тут нет ложного патриотизма, нет ограниченного пристрастия: тут только благородное и законное стремление сознать себя...

Натуральную школу обвиняют в стремлении все изображать с дурной стороны. Как водится, у одних это обвинение — умышленная клевета, у других — искренняя жалоба. Во всяком случае, возможность подобного обвинения показывает только то, что натуральная школа, несмотря на ее огромные успехи, существует еще недавно, что к ней не успели еще привыкнуть и что у нас еще много людей карамзинского образования, которых риторика имеет свойство утешать, а истина — огорчать. Разумеется, нельзя, чтобы все обвинения против натуральной школы были положительно ложны, а она во всем была непогрешительно права. Но если бы ее преобладающее отрицательное направление и было одностороннею крайностию, и в этом есть своя польза, свое добро: привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически.

Но вне мира собственно беллетристического влияние Карамзина до сих пор еще очень ощутительно. Это всего лучше доказывает так называемая партия *славянофиль-*

*ская.* Известно, что в глазах Карамзина Иоанн III был выше Петра Великого, а допетровская Русь лучше России новой. Вот источник так называемого славянофильства, которое мы, впрочем, во многих отношениях считаем весьма важным явлением, доказывающим, в свою очередь, что время зрелости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена детства литературы всех занимают вопросы если даже и важные сами по себе, то не имеющие никакого дельного приложения к жизни. Так называемое славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности. Как оно их касается и как оно к ним относится — это другое дело. Но прежде всего славянофильство есть убеждение, которое, как всякое убеждение, заслуживает полного уважения даже и в таком случае, если вы с ним вовсе не согласны. Славянофилов у нас много, и число их все увеличивается: факт, который тоже говорит в пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а с нею и часть публики, если не вся публика, разделилась на две стороны — славянофилов и неславянофилов. Много можно сказать в пользу славянофильства, говоря о причинах, вызвавших его явление; но, рассмотревши его ближе, нельзя не увидеть, что существование и важность этой литературной котерии чисто отрицательные, что она вызвана и живет не для себя, а для оправдания и утверждения именно той идеи, на борьбу с которою обрекла себя. Поэтому нет никакого интереса говорить с славянофилами о том, чего они хотят, да и сами они неохотно говорят и пишут об этом, хотя и не делают из этого никакой тайны. Дело в том, что положительная сторона их доктрины заключается в каких-то туманных, мистических предчувствиях победы Востока над Западом, которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности, всеми вместе и каждым порознь. Но отрицательная сторона их учения гораздо более заслуживает внимания не в том, что она говорит против гниющего будто бы Запада (Запада славянофилы решительно не понимают, потому что меряют его на восточный аршин), но в том, что они говорят против русского европеизма, а об этом они говорят много дельного, с чем нельзя не согласиться хотя наполовину, как, например, что в русской жизни есть какая-то двойствен-

ность, следовательно, отсутствие нравственного единства; что это лишает нас резко выразившегося национального характера, каким, к чести их, отличаются почти все европейские народы; что это делает нас какими-то междоумками, которые хорошо умеют мыслить по-французски, по-немецки и по-английски, но никак не умеют мыслить по-русски; и что причина всего этого в реформе Петра Великого. Все это справедливо до известной степени. Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него. Этого славянофилы не делали и не сделали; но зато они заставили если не сделать, то делать это своих противников. И вот где их истинная заслуга. Зануть в самолюбивых мечтах, о чем бы они ни были — о нашей ли народной славе или о нашем европеизме, равно бесплодно и вредно, ибо сон есть не жизнь, а только грезы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прервет такой сон. В самом деле, никогда изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и наметнуло нам о нашем будущем. Мы как будто испугались за нашу жизнь, за наше значение, за наше прошедшее и будущее и скорее хотим решить великий вопрос: *быть или не быть?* Тут уже дело идет не о том, откуда пришли варяги — с Запада или с Юга, из-за Балтийского или из-за Черного моря, а о том, проходит ли через нашу историю какая-нибудь живая органическая мысль, и если проходит, какая именно; какие наши отношения к нашему прошедшему, от которого мы как будто оторваны, и к Западу, с которым мы как будто связаны. И результатом этих хлопотливых и тревожных исследований начинается оказываться, что, во-первых, мы не так резко оторваны от нашего прошедшего, как думали, и не так тесно связаны с Западом, как воображали. Когда русский бывает за границею, его слушают, им интересуются, тогда, как он истинно европейски рассуждает о европейских вопросах, но когда он судит о них, как русский, хотя бы по этой причине суждения его были ложны, пристрастны, ограничены, односторонни. И поэтому он чувствует там необходимость придать себе характер

своей национальности и, за неимением лучшего, становится славянофилом, хотя на время и притом неискренно, чтобы только чем-нибудь казаться в глазах иностранцев. С другой стороны, обращаясь к своему настоящему положению, смотря на него глазами сомнения и исследования, мы не можем не видеть, как, во многих отношениях, смешно и жалко успокоил нас наш русский европеизм насчет наших русских недостатков, забелив и зарумянив, но вовсе не изгладив их. И в этом отношении поездки за границу чрезвычайно полезны нам: многие из русских отправляются туда решительными европейцами, а возвращаются оттуда сами не зная кем и по тому самому с искренним желанием сделаться русскими. Что же все это означает? Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала междуумками? И неужели они правы, говоря, что нам надо воротиться к общественному устройству и нравам времен не то баснословного Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчет этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?..

Нет, это означает совсем другое, а именно то, что Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно, из самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, так сказать, эпоху реформы и воротиться к предшествовавшим ей временам: неужели это значит развиваться самобытно? Смешно было бы так думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, как и переменить порядок годовых времен, заставив за весною следовать зиму, а за осенью — лето. Это значило бы еще признать явление Петра Великого, его реформу и последующие события в России (может быть, до самого 1812 года — эпохи, с которой началась новая жизнь для России), признать их случайными, каким-то тяжелым сном, который тотчас исчезает и уничтожается, как скоро проснувшийся человек открывает глаза. Но так думать сродно только господам Маниловым. Подобные события в жизни народа слишком велики, чтоб быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением

всла. Вместо того чтоб думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменяемую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями. Не об изменении того, что совершилось без нашего ведома и что смеется над нашею волею, должны мы думать, а об изменении самих себя на основании уже указанного нам пути вышею нас волею. Дело в том, что пора нам перестать *казаться* и начать *быть*, пора оставить, как дурную привычку, довольствоваться словами и европейские формы и внешности принимать за европеизм. Скажем более: пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно *человеческое*, и, на этом основании, все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого. Европейских элементов так много вошло в русскую жизнь, в русские нравы, что нам вовсе не нужно беспрестанно обращаться к Европе, чтобы сознавать наши потребности: и на основании того, что уже усвоено нами от Европы, мы достаточно можем судить о том, что нам нужно.

Повторяем: славянофилы правы во многих отношениях; но тем не менее их роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина их странных выводов заключается в том, что они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листья безвкусными, объявляют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить на другое место и приложить к нему другого рода уход. По их мнению, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая петровская Россия так же молода, как и Северная Америка, что в будущем ей представляется гораздо больше, чем в прошедшем. Они забыли, что в разгаре процесса часто особенно бросаются в глаза именно те явления, которые, по окончании процесса, должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впоследствии должно явиться резуль-

татом процесса. В этом отношении Россию нечего сравнивать с старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей и давно уже дала и цвет и плод. Без всякого сомнения, русскому легче усвоить себе взгляд француза, англичанина или немца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взгляд, с которым равно легко знакомит его и наука и современная действительность, тогда как он в отношении к самому себе еще загадка, потому что еще загадка для него значение и судьба его отечества, где всё зародыши, зачатки и ничего определенного, развившегося, сформировавшегося. Разумеется, в этом есть нечто грустное, но зато как много и утешительного в этом же самом! Дуб растет медленно, зато живет века. Человеку сродно желать скорого свершения своих желаний, но скороспелость не надежна: нам более, чем кому другому, должно убедиться в этой истине. Известно, что французы, англичане, немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца. Одни видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами; другие выводят из этого весьма печальные заключения о бесхарактерности, которую воспитала в нас реформа Петра: ибо, говорят они, у кого нет своей жизни, тому легко подделываться под чужую, у кого нет своих интересов, тому легко понимать чужие; но подделаться под чужую жизнь — не значит жить, понять чужие интересы — не значит усвоить их себе. В последнем мнении много правды, но не совсем лишено истины и первое мнение, как ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажем, что решительно не верим в возможность крепкого политического и государственного существования народов, лишенных национальности, следовательно, живущих чисто внешнею жизнью. В Европе есть одно такое искусственное государство, склеенное из многих национальностей, но кому же не известно, что его крепость и сила — до поры до времени?..<sup>7</sup> Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей

минуты, выдержали с честью не один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спастись от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль — об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими... Так как русская литература есть главный предмет нашей статьи, то в настоящем случае будет очень естественно сослаться на ее свидетельство. Она существует всего каких-нибудь *сто семь лет*, а между тем в ней уже есть несколько произведений, которые потому только и интересны для иностранцев, что кажутся им не похожими на произведения их литератур, следовательно, оригинальными, самобытными, то есть национально русскими. Но в чем состоит эта русская национальность, — этого пока еще нельзя определить; для нас пока довольно того, что элементы ее уже начинают пробиваться и обнаруживаться сквозь бесцветность и подражательность, в которые ввергла нас реформа Петра Великого...

Что же касается до многосторонности, с какою русский человек понимает чуждые ему национальности, — в этом заключается равно и его слабая и его сильная сторона. Слабая потому, что этой многосторонности действительно много помогает его настоящая независимость от односторонности собственных национальных интересов. Но можно сказать с достоверностью, что эта независимость только *помогает* этой многосторонности, а едва ли можно сказать с какою-нибудь достоверностью, чтобы она *производила* ее. По крайней мере нам кажется, что было бы слишком смело приписывать положению то, что всего более должно приписывать природной даровитости. Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных выводов, имеющих только субъективное значение, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все

чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания...

Просим извинения у гг. славянофилов, если мы приписали им что-нибудь такое, чего они не думали или не говорили: если б они могли упрекнуть нас в чем-нибудь подобном, пусть примут это за простую и неумышленную ошибку с нашей стороны. Каковы бы ни были их понятия, или, по-нашему, ошибки и заблуждения, мы уважаем их источник. Мы можем сочувствовать всякому искреннему, независимому и благородному, в его начале, убеждению, не только не разделяя его, но и видя в нем диаметрально противоположность нашему убеждению. На чьей стороне истина, рассудит время — великий и непогрешительный судья всех умственных и теоретических тяжб. Журнал, который теперь один остался органом славянофильского направления, объявил некогда «непримиримую вражду» всякому противоположному направлению<sup>8</sup>. Что касается до нас, имея свое определенное направление, свои горячие убеждения, которые нам дороже всего на свете, мы тоже готовы защищать их всеми силами нашими и вместе с тем противоборствовать всякому противоположному направлению и убеждению; но мы хотели бы защищать наши мнения с достоинством, а противоположным — противоборствовать с твердостью и спокойствием, без всякой вражды. К чему вражда? Кто враждует, тот сердится, а кто сердится, тот чувствует, что он неправ. Мы имеем самолюбие до того считать себя правыми в главных основаниях наших убеждений, что не имеем никакой нужды враждовать и сердиться, смешивать идеи с лицами и вместо благородной и позволенной борьбы мнений заводить бесполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбий...

На свете нет ничего безусловно важного или неважного. Против этой истины могут спорить только те исключительно теоретические натуры, которые до тех пор и умны, пока носятся в общих отвлеченностях, а как скоро спустятся в сферу приложений общего к частному, словом, в мир действительности, тотчас оказываются сомнительными на счет нормального состояния их мозга. О таких людях русская поговорка выражается, что у них *ум за разум зашел*, — выражение столько же глубоко-мысленное, сколько и справедливое, потому что оно не

отнимает у людей этого разбора ни ума, ни рассудка, но только указывает на их неправильные, превратные действия, словно на два испортившиеся колеса в машине, которые действуют одно за другое, вопреки своему назначению, и этим делают всю машину негодною к употреблению. Итак, все на свете только относительно важно или неважно, велико или мало, старо или ново. «Как, — скажут нам, — и истина и добродетель — понятия относительные?» — Нет, как *понятие*, как *мысль*, они безусловны и вечны, но как *осуществление*, как *факт*, они относительны. Идея истины и добра признавалась всеми народами, во все века; но что непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век. Поэтому безусловный или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным или отвлеченным. Ничего нет легче, как определить, чем должен быть человек в нравственном отношении, но ничего нет труднее, как показать, почему вот этот человек сделался тем, что он есть, а не сделался тем, чем бы ему, по теории нравственной философии, следовало быть.

Вот точка зрения, с которой мы находим признаки зрелости современной русской литературы в явлениях, повидимому, самых обыкновенных. Присмотритесь, прислушайтесь: о чем больше всего толкуют наши журналы? — о народности, о действительности. На что больше всего наивадают они? — на романтизм, мечтательность, отвлеченность. О некоторых из этих предметов много было толков и прежде, да не тот они имели смысл, не то значение. Понятие о «действительности» совершенно новое; на «романтизм» прежде смотрели, как на альфу и омегу человеческой мудрости, и в нем одном искали решения всех вопросов; понятие о «народности» имело прежде исключительно литературное значение, без всякого приложения к жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно в сфере литературы; но разница в том, что литература-то теперь сделалась эхом жизни. Как судят теперь об этих предметах — вопрос другой. По обыкновению, одни лучше, другие хуже, но почти все одинаково в том отношении, что в решении этих вопросов видят как будто собственное спасение. В особенности вопрос о «народности» сделался всеобщим

вопросом и проявился в двух крайностях. Одни смешали с народностью старинные обычаи, сохранившиеся теперь только в простонародье, и не любят, чтобы при них говорили с неуважением о курной и грязной избе, о редьке и квасе, даже о сивухе; другие, сознавая потребность высшего национального начала и не находя его в действительности, хлопочут выдумать свое и неясно, намеками указывают нам на смирение, как на выражение русской национальности. С первыми смешно спорить; но вторым можно заметить, что смирение есть, в известных случаях, весьма похвальная добродетель для человека всякой страны, для француза, как и для русского, для англичанина, как и для турка, но что она едва ли может одна составить то, что называется «народностью». При том же этот взгляд, может быть, превосходный в теоретическом отношении, не совсем уживается с историческими фактами. Удельный период наш отличается скорее гордынею и драчливостию, нежели смирением. Татарам поддались мы совсем не от смирения (что было бы для нас не честью, а бесчестьем, как и для всякого другого народа), а по бессилию, вследствие разделения наших сил родовым, кровным началом, положенным в основание правительственной системы того времени. Иоанн Калита был хитер, а не смирен; Симеон даже прозван был «гордым», а эти князья были первоначальниками силы Московского царства. Димитрий Донской мечом, а не смирением предсказал татарам конец их владычества над Русью. Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением. Только слабый Феодор составляет исключение из правила. И вообще как-то странно видеть в смирении причину, по которой ничтожное Московское княжество сделалось впоследствии сперва Московским царством, а потом Российской империей, приосенив крыльями двуглавого орла, как свое достояние, Сибирь, Малороссию, Белороссию, Новороссию, Крым, Бессарабию, Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Финляндию, Кавказ. Конечно, в русской истории можно найти поразительные черты смирения, как и других добродетелей, со стороны правительственных и частных лиц; но в истории какого же народа нельзя найти их, и чем какой-нибудь Людовик IX уступает в смирении Феодору Иоанновичу?.. Толкуют еще о любви, как о национальном начале, исключительно присущем одним

славянским племенам, в ущерб галльским, тевтонским и иным западным<sup>9</sup>. Эта мысль у некоторых обратилась в истинную мономанию, так что кто-то из этих «некоторых» решился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью, отделались мы не только от татар, но и от нашествия Наполеона. Но правда ли, что в этих словах высокий образец ума, зашедшего за разум, вследствие увлечения системою, теориею, несообразною с действительностию?.. Мы, напротив, думаем, что любовь есть свойство человеческой природы вообще и так же не может быть исключительною принадлежностью одного народа или племени, как и дыхание, зрение, голод, жажда, ум, слово.. Ошибка тут в том, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основание европейским государствам, тотчас же породила там чисто юридический быт, в котором само насилие и угнетение приняло вид не произвола, а закона. У славян же, напротив, господствовал обычай, вышедший из кротких и любовных патриархальных отношений. Но долго ли продолжался этот патриархальный быт и что мы знаем о нем достоверного? Еще до удельного периода встречаем мы в русской истории черты вовсе не любовные — хитрого воителя Олега, сурового воителя Святослава, потом Святополка (убийцу Бориса и Глеба), детей Владимира, восставших на своего отца, и т. п. Это, скажут, занесли к нам варяги и — прибавим мы от себя — положили начало искажению любовного патриархального быта. Из чего же в таком случае и хлопотать? Удельный период так же мало период любви, как и смирения; это скорее период резни, обратившейся в обычай. О татарском периоде нечего и говорить: тогда лицемерное и предательское смирение было нужнее и любви и настоящего смирения. Уголовные законы, пытки, казни периода Московского царства и последующих времен, до самого царствования Екатерины Великой, опять посылают нас искать любви в доисторические времена славян. Где ж тут любовь как национальное начало? Национальным началом она никогда и не была, но была человеческим началом, поддерживавшимся в племени его историческим или, лучше сказать, его неисторическим положением. Положение изменилось, изменились и патриархальные нравы, а с

ними исчезла и любовь как бытовая сторона жизни. Уж не возвратится ли нам к этим временам? Почему ж бы и не так, если это так же легко, как старику сделаться юношей, а юноше — младенцем?..

Естественно, что подобные крайности вызывают такие же противоположные им крайности. Одни бросились в фантастическую народность, другие — в фантастический космополитизм, во имя человечества<sup>10</sup>. По мнению последних, национальность происходит от чисто внешних влияний, выражает собою все, что есть в народе неподвижного, грубого, органического, неразумного, и диаметрально противопологается всему человеческому. Чувствуя же, что нельзя отрицать в народе и человеческого, противоположного, по их мнению, национальному, они разделяют неделимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая последнему качества, диаметрально противоположные качествам первого. Таким образом, беспрестанно нападая на какой-то дуализм, который они видят всюду, даже там, где его вовсе нет, они сами впадают в крайность самого отвлеченного дуализма. Великие люди, по их понятию, стоят вне своей национальности, и вся заслуга, все величие их в том и заключается, что они идут прямо против своей национальности, борются с нею и побеждают ее. Вот истинно русское и в этом отношении резко национальное мнение, которое не могло бы прийти в голову европейцу! Это мнение вытекло прямо из ложного взгляда на реформу Петра Великого, который, по общему в России мнению, будто бы уничтожил русскую народность. Это мнение тех, которые народность видят в обычаях и предрассудках, не понимая, что в них действительно отражается народность, но что они одни отнюдь еще не составляют народности. Разделить народное и человеческое на два совершенно чуждые, даже враждебные одно другому начала — значит впасть в самый абстрактный, в самый книжный дуализм.

Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? — Конечно, то, что мы называем его духовностью, то есть чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается в человеке низшим, случайным, относительным, преходящим? — Конечно, его тело. Известно, что наше тело мы сыздетства привыкли

презирать, может быть, потому именно, что, вечно живя в логических фантазиях, мы мало его знаем. Врачи, напротив, больше других уважают тело, потому что больше других знают его. Вот почему от болезней, чисто нравственных, они лечат иногда средствами чисто материальными, и наоборот. Из этого видно, что врачи, уважая тело, не презирают души: они только не презирают тела, уважая душу. В этом отношении они похожи на умного агронома, который с уважением смотрит не только на богатство получаемых от земли зерен, но и на самую землю, которая их произрастила, и даже на грязный, нечистый и вонючий навоз, который усилил плодотворность этой земли. — Вы, конечно, очень цените в человеке чувство? — Прекрасно! — так цените же и этот кусок мяса, который бьется в его груди, который вы называете сердцем и которого замедленное или ускоренное биение верно соответствует каждому движению вашей души. — Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? — Прекрасно! — так останавливайтесь же в благоговейном изумлении и перед массой его мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются, через позвоночный хребет, нити нерв, которые суть органы ощущений и чувств и которые исполнены каких-то до того тонких жидкостей, что они ускользают от материального наблюдения и не даются умозрению. Иначе вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины или — что еще хуже — сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовлетворялась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить *физический* процесс *нравственного* развития... Но это внутренний мир физиологической жизни человека; все его сокровенные от нас действия, как результат, выказываются наруже в лице, взгляде, голосе, даже манерах человека. А между тем, что такое лицо, глаза, голос, манеры? Ведь это все — тело, внешность, следовательно, все преходящее, случайное, ничтожное, потому что ведь все это — не чувство, не ум, не воля? — так, но ведь во всем этом мы *видим* и *слышим* и чувство, и ум, и волю.

Всего случайнее в человеке его манеры, потому что они больше всего зависят от воспитания, образа жизни, от общества, в котором живет человек; но почему же иногда и в грубых манерах мужика чувство ваше угадывает доброго человека, которому вы смело можете довериться, и в то же время изящные манеры светского человека заставляют вас иногда невольно остерегаться его? — Сколько на свете людей с душою, с чувством, но у каждого из них чувство имеет свой характер, свою особенность. Сколько на свете умных людей, и между тем у каждого из них свой ум. Это не значит, чтобы умы у людей были разные: в таком случае люди не могли бы понимать друг друга; но это значит, что у самого ума есть своя индивидуальность. В этом его ограниченность, и поэтому ум величайшего гения всегда неизмеримо ниже ума всего человечества; но в этом же и его действительность, его реальность. Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле или, лучше сказать, человек через тело, словом, *личность*. Оттого на свете столько умов, сколько людей, и только у человечества один ум. Посмотрите, сколько нравственных оттенков в человеческой натуре; у одного ум едва заметен из-за сердца, а у другого сердце как будто поместилось в мозгу; этот страшно умен и способен на дело, да ничего сделать не может, потому что нет у него воли; а у того страшная воля да слабая голова, и из его деятельности выходит или вздор, или зло. Перечесать этих оттенков так же невозможно, как перечесать различия физиономий: сколько людей, столько и лиц, и двух, совершенно схожих, найти еще невозможнее, нежели найти два древесных листка, совершенно схожих между собою... Когда вы влюблены в женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ее ума и сердца: иначе, когда вам укажут на другую, которой нравственные качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предмет своей любви для нового, как оставляют хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать влияния нравственных качеств на чувство любви, но когда любят человека, любят его всего, не как идею, а как живую личность; любят в нем особенно то, чего не умеют ни определить, ни назвать. В самом деле, как

бы определили и назвали вы, например, то неуловимое выражение, ту таинственную игру его физиономии, его голоса, словом, все то, что составляет его особность, что делает его непохожим на других и за что именно — поверьте мне — вы больше всего и любите его? Иначе зачем бы вам было рыдать в отчаянии над трупом любимого вами существа? — Ведь с ним не умерло то, что было в нем лучшего, благороднейшего, что называли вы в нем духовным и нравственным, а умерло только грубо материальное, случайное?.. Но об этом-то случайном и рыдаете вы горько, потому что воспоминание о прекрасных качествах человека не заменит вам человека, как умирающего от голода не насытит воспоминание о роскошном столе, которым он недавно наслаждался. Я схотню соглашусь с спиритуалистами, что мое сравнение грубо, но зато оно верно, а это для меня главное. Державин сказал:

Так, весь я не умру, но часть меня большая,  
От глена убежав, в потомстве будет жить <sup>11</sup>.

Против действительности такого бессмертия нечего сказать, хотя оно и не утешит людей, близких поэту; но что передает поэт потомству в своих созданиях, если не свою личность? Не будь он личность больше, чем кто-нибудь, личность по преимуществу, его создания были бы бесцветны и бледны. От этого творения каждого великого поэта представляют собою совершенно особенный, оригинальный мир, и между Гомером, Шекспиром, Байроном, Сервантесом, Вальтером Скоттом, Гёте и Жорж Сандом общего только то, что все они — великие поэты...

Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению и без которой все или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы наговорить вам об этом, читатели, но предпочитаю лучше откровенно сознаться вам, что чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умею определить ее словами. Это такая же тайна, как и жизнь: все ее видят, все ощущают себя в ее сфере, и никто не скажет вам, что она такое. Так точно ученые, хорошо зная действие и силы деятелей природы, каковы электричество, гальванизм, магнетизм, и потому несколько не сомневаясь в их существовании, все-таки не умеют

сказать, что они такое. Страннее всего, что все, что мы можем сказать о личности, ограничивается тем, что она ничтожна перед чувством, разумом, волею, добродетелью, красотой и тому подобными вечными и непреходящими идеями, но что без нее, преходящего и случайного явления, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродетели, ни красоты, так же, как не было бы ни бесчувственности, ни глупости, ни бесхарактерности, ни порока, ни безобразия...

Что *личность* в отношении к идее человека, то *народность* в отношении к *идее* человечества. Другими словами: народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание таковой-то логики... Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому...

Человеческое присуще человеку, потому, что он человек, но оно проявляется в нем не иначе, как, во-первых, на основании его собственной личности и в той мере, в какой она может его вместить в себе, а во-вторых, на основании его национальности. Личность человека есть исключение других личностей и по тому самому есть ограничение человеческой сущности: ни один человек, как бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпывает самим собою не только всех сфер жизни, но даже и одной какой-нибудь ее стороны. Ни один человек не только не может заменить самим собою всех людей (то есть сделать их существование ненужным), но даже и ни одного человека, как бы он ни был ниже его в нравственном или умственном отношении; но все и каждый необходимы всем и каждому. На этом и основано единство и братство человеческого рода. Человек силен и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — *национальность*. Она есть самобытный результат соединения людей, но не есть их произведение: ни один народ не создал своей национальности, как не создал

самого себя. Это указывает на кровное, родовое происхождение всех национальностей. Чем ближе человек или народ к своему началу, тем ближе он к природе, тем более он ее раб; тогда он не человек, а ребенок, не народ, а племя. В том и другом человеческое развивается по мере их освобождения от естественной непосредственности. Этому освобождению часто способствуют разные внешние причины; но человеческое тем не менее приходит к народу не извне, а из него же самого и всегда проявляется в нем национально.

Собственно говоря, борьба человеческого с национальным есть не больше, как риторическая фигура; но в действительности ее нет. Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается национально. Иначе нет прогресса. Когда народ поддается напору чуждых ему идей и обычаев, не имея в себе силы перерабатывать их силою собственной национальности в собственную же сущность, — тогда он гибнет политически. На свете много людей, известных под именем «пустых»; они умны чужим умом, ни о чем не имеют своего мнения, а между тем и учатся, и следят за всем на свете. Пустота их в том и состоит, что они заимствуют целиком, и их мозг не переваривает чужой мысли, а передает ее, через язык, в том же самом виде, в каком принял ее. Это люди безличные, потому что чем человек личнее, тем способнее обращать чужое в свое, то есть налагать на него отпечаток своей личности. Что человек без личности, то народ без национальности. Это доказывается тем, что все нации, игравшие и играющие первые роли в истории человечества, отличались и отличаются наиболее резкою национальностью. Вспомните евреев, греков и римлян; посмотрите на французов, англичан, немцев. В наше время народные вражды и антипатии погасли совершенно. Француз уже не питает ненависти к англичанину только за то, что он англичанин, и наоборот. Напротив, со дня на день более и более обнаруживается в наше время сочувствие и любовь народа к народу. Это утешительное, гуманное явление есть результат просвещения. Но из этого отнюдь не следует, чтобы просвещение сглаживало народности и делало все народы похожими один на другой, как две капли воды. Напротив, наше время есть по преимуществу время сильного

развития национальностей. Француз хочет быть французом и требует от немца, чтобы тот был немцем, и только на этом основании и интересуется им. В таких точно отношениях находятся теперь друг к другу все европейские народы. А между тем они нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных. Древняя Эллада была наследницею всего предшествовавшего ей древнего мира. В ее состав вошли элементы египетские и финикийские, кроме основного пелазгического. Римляне приняли в себя, так сказать, весь древний мир и все-таки остались римлянами и если пали, то не от внешних заимствований, а оттого, что были последними представителями исчерпавшего всю жизнь свою древнего мира, долженствовавшего обновиться через христианство и тевтонских варваров. Французская литература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила их заимствованиями, — и все-таки оставалась национально французскою. Все отрицательное движение французской литературы XVIII века вышло из Англии; но французы до того умели усвоить его себе, наложив на него печать своей национальности, что никто и не думает оспаривать у их литературы чести самобытного развития. Немецкая философия пошла от француза Декарта, нисколько не сделавшись от этого французскою.

Разделение народа на противоположные и враждебные будто бы друг другу большинство и меньшинство, может быть, и справедливо со стороны логики, но решительно ложно со стороны здравого смысла. Меньшинство всегда выражает собой большинство, в хорошем или в дурном смысле. Еще страннее приписать большинству народа только дурные качества, а меньшинству — одни хорошие. Хороша была бы французская нация, если бы о ней стали судить по развратному дворянству времен Людовика XV-го! Этот пример указывает, что меньшинство скорее может выражать собою более дурные, нежели хорошие стороны национальности народа, потому что оно живет искусственною жизнью, когда противопоставляет себя большинству, как что-то отдельное от него и чуждое ему. Это видим мы и в современной нам Франции,

в лице *bourgeoisie* \*, — господствующего теперь в ней сословия. Что же касается до великих людей, — они по преимуществу дети своей страны. Великий человек всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ. Борьба гения с народом не есть борьба человеческого с национальным, а просто-напросто нового с старым, идеи с эмпиризмом, разума с предрассудками. Масса всегда живет привычкою и разумным, истинным и полезным считает только то, к чему привыкла. Она защищает с остервенением то *старое*, против которого веком или менее назад с остервенением же боролась она как против *нового*. Противодействие массы гению необходимо: это с ее стороны экзамен гению: если он возьмет свое ни на что несмотря — значит он точно гений, то есть в самом себе носит свое право действовать на судьбы своего отечества. Иначе всякий резонер, всякий мечтатель, всякий философ, всякий маленький великий человек стал бы обходиться с народом, как с лошадыю, направляя его по воле своих прихотей и фантазий то в ту, то в другую сторону...

Нет никакой необходимости разделяться народу на самого себя, чтобы доставить себе источник новых идей. Источник всего нового есть старое; по крайней мере старым приготавливается новое. В гении не столько поражает находчивость нового, сколько смелость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведений в России чувствовали еще предшественники Петра; она указывалась настоящим положением государства; но произвести реформу мог только Петр. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебных отношениях к своему народу; но, напротив, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство с ним. Что в народе бессознательно живет, как возможность, то в гении является, как осуществление, как действительность. Народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, которые производит она. Тут единство, а не разделение, не двойственность. И, вопреки *силлогистам* (новое слово!), для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим. То, что называют

---

\* Буржуазии. — Ред.

резонеры *человеческим*, противопоставляя его *национальному*, есть, в сущности, *новое*, непосредственно и логически следующее из *старого*, хотя бы оно и было чистым его отрицанием. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нелепости, из нее один-единственный путь — переход в противоположную крайность. Это в натуре и человека и народов. Следовательно, источник всякого прогресса, всякого движения вперед заключается не в двойственности народов, а в человеческой натуре, так же, как в ней же заключается и источник уклонений от истины, коснения и неподвижности.

Важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности. То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны. И — что всего лучше — эти вопросы решены там самую жизнь или, если теория и имела участие в их решении, то при помощи действительности. Но это нисколько не должно отнимать у нас смелости и охоты заниматься решением таких вопросов, потому что, пока не решим мы их сами собою и для самих себя, нам не будет никакой пользы в том, что они решены в Европе. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы те же, да не те и требуют другого решения. — Теперь Европу занимают новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль донкихотов, горячась из них. Этим мы заслужили бы скорее насмешки европейцев, нежели их уважение. У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения. Это направление будет плодотворно, если и не будет блестяще. И начатки этого направления видим мы в современной русской литературе, а в них — близость ее зрелости и возмужалости. В этом отношении литература наша дошла до такого положения, что ее успехи в будущем, ее движение вперед зави-

сят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведыванию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие. Как бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрелости, она уже нашла, нащупала, так сказать, прямую дорогу к ней, — а это великий успех с ее стороны.

Один из самых поразительных признаков зрелости современной русской литературы — это роль, которую играет в ней стихотворная поэзия. Бывало, стихи и стишки составляли отраду и утешение нашей публики. Их читали, перечитывали, учили наизусть, покупали, не жалея денег, или переписывали в тетрадки. Новая поэма в стихах, отрывок из поэмы, новое стихотворение, появившееся в журнале или альманахе, — все это пользовалось привилегией производить шум, толки, восторги, споры и т. п. Стихотворцы являлись без счету, росли, как грибы после дождя. Теперь не то. Стихи играют второстепенную в сравнении с прозой роль. Их читают будто нехотя, едва замечают, хладнокровно похваливают хорошее и ничего не говорят о посредственном. Стихотворцев, против прежнего, стало теперь несравненно меньше. Из этого многие заключили, будто век поэзии миновался для русской литературы, что поэзия скрылась от нас чуть ли не навсегда. Мы так, напротив, видим в этом скорее торжество, нежели упадок русской поэзии. Что поколебало, а потом и вовсе изгнало манию стихописания и стихочтения? — Прежде всего, появление Гоголя, потом появление в печати посмертных сочинений Пушкина и, наконец, явление Лермонтова. Поэтическую деятельность Пушкина можно разделить на два периода: в первом она является прекрасною, но еще неглубокою, не установившеюся, еще доступною для копирования и подражания; во втором мы видим ее на неприступной высоте художественной зрелости, глубины, могущества; тут уже нельзя копировать ее, нельзя подражать ей. Талант Лермонтова с первого же своего дебюта обратил на себя всеобщее внимание, отбил у всех и у всякого охоту подражать ему. После этого доступ к поэтической славе сделался очень труден, так что талант, который прежде мог бы играть блестящую роль, теперь должен ограничиться более скромным положением. Это значит, что вкус публики к стихам сделался разборчивее, требо-

вания строже, а это, конечно, успех, а не упадок вкуса. Теперь нужен новый Пушкин, новый Лермонтов, чтобы книжка стихотворений привела в восторг всю публику, в движение — всю литературу. Но уже теперь сделалось решительно невозможным для господ поэтов обращать на себя внимание и приобретать славу или известность хоть на волос выше той меры, в какой они действительно заслуживают, по своему таланту, внимания, славы или известности. Талант теперь всегда будет оценен, и его успех уже не зависит ни от покровительства, ни от преследования журналов (если еще чем могут они повредить ему, так разве молчанием, но уже не похвалами и не бранью); он будет замечен и оценен, но не иначе, как по мере его истинного достоинства — ни больше, ни меньше.

В прошлом 1846 году вышли стихотворения гг. Григорьева, Полонского, Лизандера, Плещеева, г-жи Юлии Жадовской, «Троян и Ангелица» г. Вельмана — что-то вроде детской сказки не то в стихах, не то в мерной прозе; «Слово о Полку Игоря», переделанное г. Минаевым на поэму во вкусе не древности, не старины, а того недавнего времени, когда была мода на поэмы. Это, в сущности, не больше, как распространение или разжижение довольно бойкими стихами довольно короткого и сжатого «Слова о Полку Игоревом». Мы рады будем, если попытка г. Минаева понравится публике; но что до нас собственно касается, нам так нравится «Слово о Полку Игоревом» в его настоящем виде, что мы не можем без неприятного чувства смотреть на его переделки. Нам кажется, что его вовсе не нужно ни изменять, ни переводить, ни перелагать, но довольно заменить в нем слишком обветшалые и непонятные слова более новыми и понятными, хотя и взятыми из народного же языка. Мы назвали стихи г. Минаева бойкими; прибавим к этому, что они еще столько же фразисты, сколько и восторженны, и что в них больше риторики, нежели поэзии. Г. Минаев — энтузиастический поклонник «Слова о Полку Игоревом»; в его глазах оно чуть ли не выше всей русской поэзии, от Ломоносова до Лермонтова включительно. Это изъясняет он в послесловии к стихотворному труду своему, которое носит следующее наивно семинарское название: «Для любознательных отроковиц и юношей».

Стихотворения г-жи Юлии Жадовской были превознесены почти всеми нашими журналами. Действительно, в этих стихотворениях нельзя отрицать чего-то вроде поэтического таланта. Жаль только, что источник вдохновения этого таланта не жизнь, а мечта и что поэтому он не имеет никакого отношения к жизни и беден поэзией. Это, впрочем, выходит из отношения г-жи Жадовской к обществу как женщины. Вот стихотворение, которое вполне объясняет это положение.

Меня гнетет тоски недуг;  
Мне скучно в этом мире, друг;  
Мне надоели сплетни, вздор —  
Мужчин ничтожный разговор.  
Смешной, нелепый женщин толк,  
Их выписные бархат, шелк,  
Ума и сердца пустота  
И накладная красота.  
Мирских сует я не терплю,  
Но божий мир душой люблю,  
Но вечно будут милы мне —  
*И звезд мерцанье в вышине,  
И шум развесистых деревьев,  
И зелень бархатных лугов,  
И вод прозрачная струя,  
И в роще песни соловья.*

Нужно слишком много смелости и героизма, чтобы женщина, таким образом отстраненная или отстранившаяся от общества, не заключалась в ограниченный круг мечтаний, но ринулась бы в жизнь для борьбы с нею, если не для наслаждения, которого возможности не видит в ней. Г-жа Жадовская предпочла этому трудному шагу безмятежное смотрение на небо и звезды. Почти в каждом своем стихотворении не спускает она глаз с неба и звезд, но нового ничего там не заметила. Это не то, что Леверье, который открыл там планету *Нептун*, до него никем не знаемую. По нашему мнению, Леверье больше поэт, чем г-жа Жадовская, хоть он и не пишет стихов. Охотно согласимся с теми, кто найдет наше сближение неуместным или натянутым; но все-таки скажем, что смотреть на небо и не видеть в нем ничего, кроме общих фраз, с рифмами или без рифм — плохая поэзия! Да и что путного может увидеть в небе поэт нашего времени, если он совершенно чужд самых общих физических и астрономических понятий и не знает, что этот

голубой купол, пленяющий его глаза, не существует в действительности, но есть произведение его же собственного зрения, ставшего центром видимой им сферической выпуклости; что там, на высоте, куда ему так хочется, и пусто, и холодно, и нет воздуха для дыхания, что от звезды до звезды и в тысячу лет не долетишь на лучшем аэростате... То ли дело земля: на ней нам и светло и тепло, на ней все наше, все близко и понятно нам, на ней наша жизнь и наша поэзия... Зато кто отворачивается от нее, не умея понимать ее, тот не может быть поэтом и может ловить в холодной высоте одни холодные и пустые фразы...

Из поименованных нами стихотворных книжек, вышедших в прошлом году, замечательнее других — «Стихотворения» Аполлона Григорьева. В них, по крайней мере, есть хоть блестящие *дельной* поэзии, то есть такой поэзии, которою не стыдно заниматься, как делом. Жаль, что этих блестящих не много; ими обязан был г. Григорьев влиянию на него Лермонтова; но это влияние исчезает в нем все больше и больше и переходит в самобытность, которая вся заключается в туманно-мистических фразах, при чтении которых невольно приходит на память эпиграмма Дмитриева:

Уж подлинно Бибрус богов языком пел:  
Из смертных бо его никто не разумел<sup>12</sup>.

Вот самобытность, которая не стоит даже подражательности!

Но истинным приобретением для русской литературы вообще было вышедшее в прошлом году издание стихотворений Кольцова. Несмотря на то, что эти стихотворения все были уже напечатаны и прочтены в альманахах и журналах, они производят впечатление новости потому именно, что собраны вместе и дают читателю понятие о всей поэтической деятельности Кольцова, представляя собою нечто целое. Эта книжка — капитальное, классическое приобретение русской литературы, не имеющее ничего общего с теми эфемерными явлениями, которые, даже и не будучи лишены относительных достоинств, перелистываются как новость для того, чтоб быть потом забытыми. В наше время стихотворный талант нипочем — вещь очень обыкновенная; чтобы он чего-нибудь стоил, ему нужно быть не просто талантом,

но еще большим талантом, вооруженным самобытною мыслию, горячим сочувствием к жизни, способностью глубоко понимать ее. Благодаря толкам журналов некоторые маленькие таланты кое-как поняли это по-своему и стали на заглавных листках своих книжек ставить эпитафии, во свидетельство, что их поэзия отличается *современным направлением*, да еще латинские эпитафии, вроде следующего: *Ното sum, et nihil humani a me alienum puto* \*<sup>13</sup>. Но ни ученость, ни образование, ни латинские эпитафии, ни даже действительное знание латинского языка не дадут человеку того, чего не дала ему природа, и так называемое «современное направление» поэтов известного разряда всегда будет только «пленной мысли раздраженьем»...

Вот отчего полуграмотный прасол Кольцов, без науки и образования, нашел средство сделаться необыкновенным и самобытным поэтом. Он сделался поэтом, сам не зная как, и умер с искренним убеждением, что если ему и удалось написать две-три порядочные пьески, все-таки он был поэт посредственный и жалкий... Восторги и похвалы друзей не много действовали на его самолюбие... Будь он жив теперь, он в первый раз вкусил бы наслаждение уверившегося в самом себе достоинства, но судьба отказала ему в этом законном вознаграждении за столько мук и сомнений...

Так как мы не можем сказать о поэзии Кольцова ничего, кроме того, что уже высказано об этом предмете в статье: «О жизни и сочинениях Кольцова», вошедшей в состав издания его сочинений, то и отсылаем к ней тех, которые не читали ее, но хотели бы знать наше мнение о таланте Кольцова и его значении в русской литературе <sup>14</sup>.

Из стихотворных произведений, появившихся не отдельно, а в разных изданиях прошлого года, замечательны: «Помещик», рассказ (в «Петербургском сборнике») <sup>15</sup>, и «Андрей», поэма (в «Отечественных записках») <sup>16</sup> г. Тургенева; «Машенька», поэма г. Майкова (в «Петербургском сборнике»); «Макбет» Шекспира, перевод г. Кронеберга, стихами и прозою. Замечательных мелких стихотворений в прошлом году, как и вообще в

---

\* Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо —  
Ред.

последнее время, было очень мало. Лучшие из них принадлежат гг. Майкову, Тургеневу и Некрасову.

О стихотворениях последнего мы могли бы сказать более, если бы этому решительно не препятствовали его отношения к «Современнику»<sup>17</sup>.

Кстати о стихотворных переводах классических произведений. Г. А. Григорьев перевел Софоклову «Антигону» («Библиотека для чтения»<sup>18</sup>, № 8). За многими из наших литераторов водится замашка говорить с таинственною важностью о вещах давным-давно известных и приниматься с самоуверенностью за совершенно чуждую им работу. Г. Григорьев объявляет в небольшом предисловии к своему переводу, что он со временем «изложит свой взгляд на греческую трагедию», взгляд, «особенное начало которого есть, *впрочем*, непосредственная связь ее с учением древних мистерий». Да это знают дети в низших классах гимназий! Вот, например, идея, что в *одной* «Антигоне» является борьба двух начал человеческой жизни — *личного* права и долга против *общего* права и долга и что, следовательно, «в «Антигоне» из-за древних форм веет предчувствием иной жизни» — эта идея принадлежит исключительно г. Григорьеву, и мы охотно готовы оставить ее за ним. Что касается до самой «Антигоны», то едва ли Софокл — «аттическая пчела» — узнал бы себя в этом торопливом, исполненном претензий и крайне неверном переводе г. Григорьева. Величавый древний сенар (шестистопный ямб) превратился в какую-то рубленую, неправильную прозу, напоминающую новейшие «драматические представления» наших доморожденных драматургов; мелодические хоры являются пустозвонным набором слов, часто лишенных всякого смысла; о древнем колорите, характеристике каждого отдельного лица нет и помина<sup>\*</sup>. Спрашивается, для чего и для кого трудился г. Григорьев? Разве для того, чтобы отбить у нас и без того не слишком сильную охоту к классической старине, с которою он так необдуманно обошелся?..

По части беллетристической прозы отдельными изданиями вышли в прошлом году только два сочинения: «Брынский лес, эпизод из первых годов царствования

---

\* Нечего говорить о бесчисленных промахах; по мнению г. Григорьева, Арес (Марс) должно выговаривать Арес и пр.

Петра Великого», роман г. Загоскина, и вторая часть «Петербургских вершин» г. Буткова.

Новый роман г. Загоскина отличается всеми, как дурными, так и хорошими, сторонами его прежних романов. Отчасти это новое, не помним уже которое счетом, подражание г. Загоскина своему первому роману «Юрию Милославскому»<sup>19</sup>. Но герой последнего романа еще бесцветнее и безличнее, нежели герой первого. О героине нечего и говорить: это вовсе не женщина, а тем менее русская женщина конца XVII столетия. По своей завязке «Брынский лес» напоминает сентиментальные романы и повести прошлого века. Стрелецкий сотник Левшин *романически* влюбляется в какую-то неземную деву, с которой сводит его судьба на постоялом дворе. Из первой же части романа узнаете вы, что у боярина Буйносова пропала малолетняя дочь в Брынском лесу, где он остановился проездом отдохнуть с своею холопскою свитою, состоявшею человек из пятидесяти. Узнавши это, вы сейчас догадываетесь, что идеальная дева, пленившая Левшина, есть дочь Буйносова, а вместе с тем узнаете, что будет далее в романе и чем он кончится. Любовь двух голубков высказывается избитыми фразами дюжинных романов прошлого века, — фразами, которые никоим образом не могли бы войти в голову русского человека последней половины XVII столетия, когда еще не появлялась и знаменитая книжица, рекомая «Приклады, како пишутся всякие комплименты, и проч.». К слабым сторонам романа принадлежит и его направление, происходящее от охоты автора приходить в восторг от старинных обычаев и нравов, даже самых нелепых, невежественных и варварских, и ими, кстати и некстати, колоть глаза современным обычаям и нравам. Впрочем, это недостаток не важный: где автор рисует старину неправдоподобно, неверно, слабо, там он, разумеется, не производит на читателя никакого впечатления, кроме скуки; там же, где он изображает *доброе старое время* в его истинном виде, как писатель с талантом, — там он всегда достигает результата, совершенно противоположного тому, которого добивается, то есть разубеждает читателя именно в том, в чем хочет его убедить, и наоборот. И это лучшие страницы романа, написанные с замечательным талантом и отличающиеся большим интересом, как, например, картина Земского

приказа и достойного поддьяка, Ануфрия Трифоньича; рассказ прикащика Буйносова о пропаже его дочери в глазах семи нянек и полусотни челядинцев, а главное, картина третейского суда на татарский манер, — суда, где, в лице боярина Куродавлева и пришедших к нему судиться двух мужиков, выказывается вся прелесть старинных нравов. К числу хороших сторон нового романа г. Загоскина должно отнести еще вообще недурно, а местами и прекрасно очерченные характеры раскольников: Андрея Поморянина, старца Пафнутия, отца Филиппа и Волосатого старца, и боярина Куродавлева, добровольного мученика местнической спеси. Но всех их лучше обрисован Андрей Поморянин. Нельзя не пожалеть, что г. Загоскин занимает в своем романе внимание читателя больше бесцветною и скучною любовью своего героя, нежели картинами нравов и исторических событий этой интересной эпохи. Язык нового романа г. Загоскина, как и всех прежних его романов, везде ясен, прост, плавен; местами одушевлен и жив.

Вторая книга «Петербургских вершин» г. Буткова показала нам гораздо лучше первой<sup>20</sup>, хотя и первой мы не нашли дурною. По нашему мнению, у г. Буткова нет таланта для романа и повести, и он очень хорошо делает, оставаясь всегда в пределах им же созданного особенного рода дагерротипических рассказов и очерков. Это не творчество, не поэзия, но в этом есть свое творчество, своя поэзия. Рассказы и очерки г. Буткова относятся к роману и повести, как статистика к истории, как действительность к поэзии. В них мало фантазии, зато много ума и сердца; мало юмору, зато много иронии и остроумия, источник которых симпатичная душа. Может быть, талант г. Буткова односторонен и не отличается особенным объемом; но дело в том, что можно иметь талант и многостороннее и больше таланта г. Буткова — и напоминать им о существовании то того, то другого еще большего таланта, тогда как талант г. Буткова никого не напоминает — он совершенно сам по себе. Он никому не подражает, и никто не мог бы безнаказанно подражать ему. Вот почему особенно любимы мы талантом г. Буткова и уважаем его. Рассказы, очерки, анекдоты — называйте их как хотите — г. Буткова представляют собою какой-то особенный род литературы, доселе небывалый.

С большим удовольствием заметили мы, что в этой второй книжке г. Бутков реже впадает в карикатуру, меньше употребляет странных слов, что язык стал точнее, определеннее, а содержание еще более проникнулось мыслию и истиною, чем было все это в первой книжке. Это значит идти вперед. От души желаем, чтобы третья книжка «Петербургских вершин» поскорее вышла.

Обращаясь к замечательным произведениям беллетристической прозы, являвшимся в сборниках и журналах прошлого года, взгляд наш, прежде всего, встречает «Бедных людей», роман, вдруг доставивший большую известность до того времени совершенно неизвестному в литературе имени. Впрочем, об этом произведении было так много говорено во всех журналах, что новые подробные толки о нем уже не могут быть интересны для публики. И потому мы не будем слишком распространяться об этом предмете<sup>21</sup>. В русской литературе еще не было примера так скоро, так быстро сделанной славы, как слава г. Достоевского. Сила, глубина и оригинальность таланта г. Достоевского были признаны тотчас же всеми, и — что еще важнее — публика тотчас же обнаружила ту неумеренную требовательность в отношении к таланту г. Достоевского и ту неумеренную нетерпимость к его недостаткам, которые имеет свойство возбуждать только необыкновенный талант. Почти все единогласно нашли в «Бедных людях» г. Достоевского способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство, одни — растянутости, другие — неумеренной плодовитости. Действительно, нельзя не согласиться, что если бы «Бедные люди» явились хотя десятою долею в меньшем объеме и автор имел бы предусмотрительность поочистить свой роман от излишних повторений одних и тех же фраз и слов, — это произведение явилось бы безукоризненно художественным. Во второй книжке «Отечественных записок» г. Достоевский вышел на суд заинтересованной им публики со вторым своим романом «Двойник. Приключения господина Голядкина». Хотя первый дебют молодого писателя уже достаточно уладил ему дорогу к успеху, однако должно сознаться, что «Двойник» не имел никакого успеха в публике. Если еще нельзя на этом основании осудить второе произведение г. Достоевского как неудачное и, еще менее, как не имеющее никаких

достоинств, то нельзя также и признать суд публики во все неосновательным. В «Двойнике» автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература, ума и истины в этом произведении бездна, художественного мастерства — тоже; но вместе с этим тут видно страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил. Все, что в «Бедных людях» было извинительными для первого опыта недостатками, в «Двойнике» явилось чудовищными недостатками, и это все заключается в одном: в неумении слишком богатого силами таланта определять разумную меру и границы художественному развитию задуманной им идеи. Попробуем объяснить нашу мысль примером. Гоголь так глубоко и живо концепировал идею характера Хлестакова, что легко мог бы сделать его героем еще целого десятка комедий, в которых Иван Александрович являлся бы верным самому себе, хотя и совершенно в новых положениях, как жених, муж, отец семейства, помещик, старик и т. д. Эти комедии, нет сомнения, были бы так же превосходны, как и «Ревизор», но уже такого, как он, успеха иметь не могли бы и скорее бы наскучали, нежели нравились, потому что все уха да уха, хотя бы и *Демьянова*, приедается. Как скоро поэт выразил своим произведением идею, его дело сделано, и он должен оставить в покое эту идею, под опасением наскучить ею. Другой пример на тот же предмет: что может быть лучше двух сцен, выключенных Гоголем из его комедии, как замедлявших ее течение? <sup>22</sup> Сравнительно они не уступают в достоинстве ни одной из остальных сцен комедии: почему же он выключил их? — Потому, что он в высшей степени обладает тактом художественной меры и не только знает, с чего начать и где остановиться, но и умеет развить предмет ни меньше, ни больше того, сколько нужно. Мы знаем, что г. Достоевский выключил из «Двойника» одну сцену, прекрасную сцену, чувствуя сам, что его роман вышел уже чересчур длинен, велик, и мы убеждены, что если б он укоротил своего «Двойника» по крайней мере целою третью, не жалея выкидывать хорошего, тогда успех его был бы другой. Но в «Двойнике» есть еще и другой существенный недостаток: это его фантастический колорит.

Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находится в заведывании врачей, а не поэтов. По всем этим причинам «Двойника» оценили только немногие дилетанты искусства<sup>23</sup>, для которых литературные произведения составляют предмет не одного наслаждения, но и изучения. Публика же состоит не из дилетантов, а из обыкновенных читателей, которые читают только то, что им непосредственно нравится, не рассуждая, почему им это нравится, и тотчас закрывают книгу, как скоро начинает она их утомлять, тоже не давая себе отчета, почему она им не по вкусу. Произведение, которое нравится знатокам и не нравится большинству, может иметь свои достоинства; но истинно хорошее произведение есть то, которое нравится обеим сторонам или, по крайней мере, нравясь первой, читается и второю: ведь Гоголь не всем нравился, да прочли-то его все...

В десятой книжке «Отечественных записок» появилось третье произведение г. Достоевского, повесть «Господин Прохарчин», которая всех почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают яркие искры большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю... Сколько нам кажется, не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии... Может быть, мы ошибаемся, но почему ж бы в таком случае быть ей такую вычурною, манерною, непонятною, как будто бы это было какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, а не поэтическое создание? В искусстве не должно быть ничего темного и непонятного; его произведения тем и выше так называемых «истинных происшествий», что поэт освещает пламенником своей фантазии все сердечные изгибы своих героев, все тайные причины их действий, снимает с рассказываемого им события все случайное, представляя нашим глазам одно необходимое, как неизбежный результат достаточной причины. Мы не говорим уже о замашке автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выражение (как, например: *Прохарчин мудрец!*) и тем ослаблять силу его впечатления, это уже недостаток второстепенный и, главное, поправимый. Заметим мимоходом,

что у Гоголя нет таких повторений. Конечно, мы не вправе требовать от произведений г. Достоевского совершенства произведений Гоголя, но тем не менее думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером еще большего.

К замечательным произведениям легкой литературы прошлого года принадлежат помещенные в «Отечественных записках» повести: «Небывалое в былом или бывшее в небывалом» Луганского и «Деревня» г. Григоровича. Оба эти произведения имеют между собою то общее свойство, что они интересны не как повести, а как мастерские физиологические очерки бытовой стороны жизни. Мы не скажем, чтобы собственно повесть Луганского не имела интереса; мы хотим только сказать, что она гораздо интереснее своими отступлениями и аксессуарами, нежели своею романическою завязкою. Так, например, превосходная картина избы с резными окнами, в сравнении с малороссийскою хатою, лучше всей повести, хотя входит в нее только эпизодом и ничем внутренне не связана с сущностию ее содержания. Вообще в повестях Луганского всего интереснее подробности, и «Небывалое в былом или бывшее в небывалом» в особенности богато интересными частностями, помимо общего интереса повести, которая служит тут только рамкою, а не картиною, средством, а не целью. Об этом можно было бы сказать больше, но как мы скоро будем иметь случай высказать наше мнение о всей литературной деятельности казака Луганского, то пока и ограничимся этими немногими строками<sup>24</sup>.

О г. Григоровиче мы теперь же скажем, что у него нет ни малейшего таланта к повести, но есть замечательный талант для тех очерков общественного быта, которые теперь получили в литературе название *физиологических*. Но он хотел сделать из своей «Деревни» повесть, и отсюда вышли все недостатки его произведения, которых он легко бы мог миновать, если бы ограничился бессвязными внешним образом, но дышащими одною мыслию, картинами деревенского быта крестьян. Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренний мир героини его повести, и вообще из его Акулины вышло лицо довольно бесцветное и неопределенное, именно потому, что он старался сделать из нее особенно интересное лицо. К недостаткам повести принадлежат также и

натянутые, изысканные и вычурные местами описания природы. Но что касается собственно до очерков крестьянского быта, — это блестящая сторона произведений г. Григоровича. Он обнаружил тут много наблюдательности и знания дела и умел выказать то и другое в образах простых, истинных, верных, с замечательным талантом. Его «Деревня» — одно из лучших беллетристических произведений прошлого года.

Статья Луганского «Русский мужик», явившаяся в третьей части «Новоселья»<sup>25</sup>, исполнена глубокого значения, отличается необыкновенным мастерством изложения и вообще принадлежит к лучшим физиологическим очеркам этого писателя, которого необыкновенный талант не имеет себе соперников в этом роде литературы.

С шестой книжки «Библиотеки для чтения» тянется роман г. Вельтмана: «Приключения, почерпнутые из моря житейского», который еще не кончился последнею книжкою этого журнала за прошлый год. Вельтман обнаружил в новом своем романе едва ли еще не больше таланта, нежели в прежних своих произведениях, но вместе с тем и тот же самый недостаток умения распоряжаться своим талантом. В его «Приключениях» толпится страшное множество лиц, из которых многие очеркнуты с необыкновенным мастерством; много поразительно верных картин современного русского быта, но вместе с тем есть лица неестественные, положения натянутые, и слишком запутанные узлы событий часто разрешаются посредством *deus ex machina* \*<sup>26</sup>. Все, что есть прекрасного в этом романе, принадлежит таланту г. Вельтмана, который, бесспорно, один из замечательнейших талантов нашего времени, а все, что составляет слабые стороны «Приключений», вышло из намеренного желания г. Вельтмана доказать превосходство старинных нравов перед нынешними. Странное направление! Мы несколько не принадлежим к безусловным почитателям современных нравов русского общества, не менее всякого другого видим их странности и недостатки и желаем их исправления. Как и у славянофилов, у нас есть свой идеал нравов, во имя которого мы желали бы их исправления, но наш идеал не в прошедшем, а в будущем, на

---

\* Бога из машины. — Ред.

основании настоящего. Вперед идти можно, назад — нельзя, и, что бы ни привлекало нас в прошедшем, оно прошло безвозвратно. Мы готовы согласиться, что молодые купчики, которые кутят на новый лад и лучше умеют проматывать нажитое отцами, нежели приобретать сами, — мы согласны, что они страннее и нелепее своих отцов, которые упорно держатся старины. Но мы никак не можем согласиться, чтобы их отцы не были тоже странны и нелепы. Молодые поколения даже купчиков выражают собою переходное состояние своего состояния, переходное от худшего к лучшему, но это лучшее окажется хорошим только как результат перехода, а как процесс перехода оно, разумеется, скорее хуже, нежели лучше старого. Действуйте на исправление нравов сатирою или — что лучше всякой сатиры — верным их изображением, но действуйте не во имя старины, а во имя разума и здравого смысла, не во имя мечтательного и невозможного обращения к прошедшему, а во имя возможного развития будущего из настоящего. Пристрастие, к чему бы оно ни прилагалось — к старине или новизне, всегда мешает достижению цели, потому что невольно вводит в ложь человека, самого страстного к истине и действующего по самому благородному убеждению. Это и сбылось с г. Вельтманом в его новом романе. Он придал безнравственным лицам своего романа такой колорит, как будто они безнравственны по милости новых нравов, а живи-де они в кошихинские времена, то были бы отличнейшими людьми. По крайней мере мы считаем себя вправе сделать такое заключение из того, что автор нигде и не думает маскировать своей симпатии к старине, своей антипатии к новизне. Так, например, обвинуясь истине, он беспристрастно показал естественные причины страшного богатства купчины Захолустьева; но в то же время счел за необходимое противопоставить ему Селифонта Михеича, который тоже страшно разбогател, но честностию и порядком, а главное потому, что «жил по старому русскому обычаю». Желали бы мы знать, что бы наши купцы сказали об этой утопии честного благоприобретения огромного имения... По мнению г. Вельтмана, русский человек, имеющий несчастье знать французский язык, есть человек погибший... Каких, подумаешь, не бывает предрассудков у людей с умом и талантом!..

Герой романа *Дмитрицкий* — нечто вроде Ваньки Каина новых времен или то, что французы называют: *chevalier d'industrie* \*, — лицо очень возможное и вообще мастерски очерченное автором. Зато героиня, Саломея Петровна, которой выпала невыгодная роль представительницы и жертвы новейших нравов и знания французского языка, — лицо совершенно сказочное. Сначала она является жеманницею, холодной лицемеркою, до пошлости неискусною актрисою, а потом самую страстную женщину, какую только можно вообразить. Действие романа презапутанное; в нем столько эпизодов, сколько лиц, а лицам, как мы сказали, счету нет. Как только является новое лицо, автор без церемонии бросает героя и героиню и начинает рассказывать читателю историю этого нового лица со дня его рождения, а иногда и со дня рождения его родителей по день его появления в романе. Большая часть из этих вводных лиц изображены или очеркнуты с большим искусством. Ход романа очень интересен, в событиях много истины, но в то же время и много невероятностей. Когда автору нет средства естественно развязать узел завязки или завязать новый, у него сейчас является *deus ex machina*. Таково, например, похищение Саломеи холопами Филиппа Савича, помещика Киевской губернии, — самая невероятная романтическая натяжка, на какую только когда-либо решался писатель с талантом. Таких сказочных невероятностей особенно много в событиях жизни Дмитрицкого; ему все удается, он всегда выходит с выгодой для себя из самого затруднительного, самого невыгодного положения. Приезжает в Москву без бумаг, с одним червонцем, останавливается в гостинице, пьет, ест на широкую ногу, — и вдруг судьба посылает ему литературщика, который принял его за литератора, занимавшего еще вчера этот же самый номер гостиницы, везет его к себе, предлагает у себя квартиру, дает денег. Все это делается по *щучью веленью*, а по *моему прошенью* и доказывает, что у г. Вельтмана больше таланта для частных и подробностей, нежели для создания чего-нибудь целого, больше склонности к сказке, нежели к роману, и что системы и теории много делают вреда его замечательному таланту...

---

\* Рыцарь наживы — *Ред.*

Упомянувши еще о «Венгерцах»<sup>27</sup>, физиологическом очерке в «Финском вестнике»<sup>28</sup>, мы окончим наш перечень всего особенно замечательного, что явилось в прошлом году по части изящной словесности. Перечень этот вышел невелик; \* обо многом мы не хотим упоминать вовсе не потому, чтобы во всем, о чем умалчиваем, видели мы одно дурное и ничего хорошего, но потому, что считали нужным говорить только об особенно замечательном.

По примеру «Петербургского сборника», в Москве издан был «Московский литературный и ученый сборник»<sup>30</sup>, который, несмотря на свое славянофильское направление, включает в себе несколько интересных статей, из которых особенно замечательна умным содержанием и мастерским изложением статья «Тарантас», подписанная буквами М. З. К.<sup>31</sup>

«Воспоминания Фаддея Булгарина» (Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни), не принадлежа собственнико ни к ученой, ни к поэтической, но к так называемой легкой литературе, есть книга во многих отношениях интересная и замечательная. По поводу недавно вышедшей третьей части этого сочинения мы ниже выскажем наше о нем мнение, а пока ограничимся одним упоминанием<sup>32</sup>.

К числу такого же рода произведений отнесли бы мы и «Записки доктора», сочинение г. Малиновского, если бы эти записки больше были верны своей прекрасной цели и больше походили на записки, нежели на мелодраму в форме неудавшегося романа, написанного без таланта, без умения и такту.

От чисто литературных произведений переходя к сочинениям ученого или серьезного содержания, начнем с того, что сделано было в прошлом году по части русской истории. Скажем здесь кстати, что в «Современнике» будет обращено особенное внимание на этот пред-

---

\* Это произошло частью оттого, что множество замечательных беллетристических произведений, особенно повестей, должно было появиться в прошлом году в одном огромном сборнике, предполагавшемся к изданию. Но, по случаю «Современника», литератор, предпринимавший издание огромного сборника, счел за лучшее оставить свое предприятие и передать «Современнику» собранные им статьи<sup>29</sup>.

мет. Кроме статей по части русской истории, журнал наш, не обещая своим читателям полной библиографии по другим частям, будет представлять отзывы обо всем, что будет являться сколько-нибудь замечательного по части русской истории. . . . .

«История русской словесности, преимущественно древней», — XXXIII публичные лекции г. Шевырева (доселе вышло две части), принадлежит к замечательным явлениям ученой русской литературы прошлого года. В этом сочинении автор обнаружил короткое знакомство с источниками, обширную начитанность, словом, эрудицию, которая сделала бы честь самому кропотливому немецкому гелертеру. При этом оно отличается глубоким и искренним убеждением, самую наивную добросовестностью, которые, однаков, не помешали трудолюбивому и почтенному профессору представлять факты в самом неистинном виде. Это странное явление будет очень понятно, если взять в соображение, какую ужасную силу имеет над здравомыслием человека дух системы, обаяние готовой идеи, еще прежде изучения фактов принятой за непреложно истинную. Вот причина, почему г. Шевырев в духовных сочинениях древней и старой Руси непременно хочет видеть произведения народной русской словесности, а в русском сказочном витязе Илье Муромце находит что-то общее с Сидом, рыцарственным героем национальных испанских романсов... Ведь ученый и трудолюбивый Венелин находил же Атиллу славянином, а в Меровингах франкских видел славянских «мировых» или «міровых» — не помним, право<sup>33</sup>. Это доказывает, что господа ученые, платя дань человеческой слабости, бывают подвержены таким же странностям, как и самые простые, вовсе безграмотные люди. Может быть, это происходит оттого, что они, как говорит простой народ, *зачитываются* и у них ум за разум заходит; может быть, это происходит и от других причин — не знаем; но знаем только то, что дух системы и доктрины имеет удивительное свойство омрачать и фанатизировать даже самые светлые умы... Впрочем, книга г. Шевырева, вне своего славянофильского направления, имеет много достоинств как памятник примерного трудолюбия и добросовестной, хотя и односторонней учености. Более

всего важны примечания, которыми снабжена она и куда вынесены автором самые интересные факты, которые с особенным упорством отказались свидетельствовать в пользу любимых идей его. Замечательна еще книга г. Шевырева и тем, что подала повод к четырем прекрасным критическим статьям (в «Отечественных записках», №№ 5 и 12, в «Библиотеке для чтения» и «Финском вестнике») <sup>34</sup>.

К числу блистательнейших приобретений по части учебной русской литературы вообще, а не одного прошлого года, принадлежит вышедшее в прошлом году второе отделение второй части «Руководства ко всеобщей истории» — сочинение профессора Лоренца. Эту книжкою заключается средняя история. С нетерпением ожидаем продолжения и окончания этого превосходного труда.

«История консульства и империи» Тьера появилась в двух переводах. Вышла шестая часть «Всемирной истории» Беккера.

«Нравы, обычаи и памятники всех народов земного шара», издание гг. Семена и Стойковича, превосходными иллюстрированными картинками и политипажам и вообще типографским изяществом затмило собою все когда-либо являвшиеся в России так называемые великолепные и роскошные издания. Содержание книги соответствует ее внешнему достоинству и — что дает ей особенную важность — есть не перевод, а почти оригинальный труд двух русских литераторов, которые, пользуясь иностранными источниками, умели придать ему достоинство одушевленного одною идеею сочинения. В вышедшей книге содержится описание Индустана, сделанное г. Тютчевым, и Заганского полуострова, сделанное г. Стойковичем. Во второй книге издатели обещают описание Китая и Японии.

В журналах прошлого года было очень много интересных статей ученого содержания, оригинальных и переводных. Из первых в особенности можно указать: на седьмое и восьмое «Письма об изучении природы» Искандера; «Кочующие и оседло живущие в Астраханской губернии инородцы» барона Ф. А. Бюлера; «Европейские железные дороги, в историческом, географическом и статистическом отношениях» (в «Отечественных записках»); «Нога и рука человека» С. С. Куторги (в «Библиотеке

для чтения»); «Жизнь и нравы змей», «Жизнь и нравы пауков» г. Ушакова (в «Финском вестнике»). Из переводных статей особенно замечательна — «Оливер Кромвель» (в «Отечественных записках»). Знаменитое ученое творение Гумбольдта было переведено в «Отечественных записках» под именем *Космоса*, а в «Библиотеке для чтения» — под именем *Козмоса*. Нельзя не отдать справедливости обоим журналам за их поспешность познакомить русскую публику с произведением великого ученого, столь важным по предмету и написанным популярно; но едва ли оба журнала достигли своей цели. Популярность изложения Гумбольдта чисто немецкая, следовательно, вполне доступная только людям, специально занимающимся естественными науками и астрономиею. В этом отношении гораздо полезнее перевода обоих журналов была статья в «Северной пчеле»<sup>35</sup> (№№ 175—180): «Александр Гумбольдт и его Вселенная (*Kosmos*)». Не знаем, откуда переведена или кем написана она, но не посвященных в таинства науки она знакомит с книгою Гумбольдта больше и лучше, нежели переводы этой книги в обоих журналах. В «Финском вестнике» переводится знаменитое творение Тьерри: «Завоевание Англии норманнами». Это сочинение, конечно, не ново везде, кроме России, и оттого мысль «Финского вестника» перевести его заслуживает похвалы и благодарности.

В последнее время много стало появляться книг, брошюр и статей по специальным предметам. Конечно, истинно хороших между ними еще мало, но все они важны как свидетельство дельного направления литературы. Так, например, в прошлом году вышли весьма замечательные книги, которые мы только поименуем, так как о них было уже много говорено в журналах: первая книга «Записок Русского Географического общества»; третья часть «Истории смутного времени» г. Бутурлина; «Об источниках и употреблении статистических сведений» г. Журавского; «Нижегородская ярмарка в 1843, 1844 и 1845 годах» г. Мельникова и пр. Особенно приятно видеть, что появляется довольно много книг, брошюр и статей, касающихся не только сельского хозяйства в его техническом значении, но и быта того многочисленного класса людей, который играет такую важную роль в отношении к сельскому хозяйству, как живая и разумная производящая сила. Особенно заслуживает внима-

ния, в 103 № «Московских ведомостей»<sup>36</sup> превосходная статья С. А. Маслова «Жар и жатва хлеба (Летние заметки в Московской губернии)». Эта замечательная статья, за которую почтенного автора благословит всякий друг человечества, была перепечатана почти во всех журналах, издающихся от правительственных ведомств<sup>37</sup>.

Мы не упомянули о нескольких замечательных книгах, показавшихся в конце прошлого года, для того, чтобы начать с них отдел «Критики и библиографии» «Современника». Но прежде скажем несколько слов об этом отделе нашего журнала. Почти во всех других журналах критика составляет особый от библиографии отдел. Пишущий эти строки семилетним тяжким опытом дознал невыгоду такого разделения. Под критикой разумеется статья известного объема и даже особенного от рецензии тона. Замечательных книг, подлежащих ведомству серьезной критики, у нас выходит так мало, что обязанность писать по критике каждый месяц поневоле делается чем-то вроде тяжелой поставки, ибо много замечательного печатается в журналах. Поэтому, представляя отчеты нашей публике о всех более или менее примечательных явлениях русской литературы, мы не будем нисколько заботиться, что выйдет из нашего разбора — критика или рецензия. Пусть сами читатели наши решают это, каждый по своему вкусу и разумению. Этим мы надеемся доставить им услугу, избавив журнал наш от балласта многословия и надутости, неизбежного иногда при двойном разделении критики на большую, или собственно критику, и малую, или рецензию. Критика наша, как мы сказали выше, будет обращать внимание на все сколько-нибудь замечательные сочинения по части русской истории; затем более всего обратит она свое внимание на произведения чисто литературные; но в отношении и к ним мы не обещаем полной библиографии, ибо о книгах ничтожных даже отрицательно, по нашему мнению, не стоит труда ни писать, ни читать. Мы даже будем считать нашею обязанностью, из уважения к публике и самим себе, проходить молча дюжинные произведения дюжинных писак, которые успели уже приобрести себе позорную известность и которые, думая верно изображать жизнь, как она есть, вместо этого изображают верно только себя так, как они есть, то есть во всем <ничтожестве> их претензий,

ограниченности, бездарности, пошлости и слабоумия. С другой стороны, чуждые всяких притязаний на энциклопедическую многосторонность познаний, мы не будем ничего говорить о специальных сочинениях, как бы ни были они замечательны, если они выходят из круга наших занятий.

Конечно, легко отвести в своем журнале угол для сельского хозяйства, помещая в нем чужие статьи, и отдавать, тоже чужими руками, критические отчеты о книгах по этой части; но и для этого самому издателю необходимо знать о сельском хозяйстве что-нибудь побольше того, что хлеб родится на земле, а не на воде: иначе он поневоле будет в руках у своих сотрудников и будет без вины виноват в их промахах или, пожалуй, и мистификациях, а публика в этом отделе его журнала будет видеть только балласт... С своей стороны, мы приняли за правило меньше обещать, но лучше исполнять. О книгах легких и незначительных будет у нас говорить в фельетоне «Современника» в отделе «Смеси» и от времени до времени прилагаться к его книжкам полные библиографические списки всех, без исключения, выходящих в России книг на русском языке, с обозначением типографии, формата, числа страниц и даже, по возможности, цен.

---